

ТРИСТАН

Вот он, санаторий «Эйнфрид»! Прямые очертания его продолговатого главного корпуса и боковой пристройки белеют посреди обширного сада, украшенного затейливыми гротами, аллеями и беседками, а за шиферными его крышами плавно, сплошным массивом, поднимаются к небу хвойно-зеленые горы.

По-прежнему возглавляет это учреждение доктор Леандер. У него черная раздвоенная борода, курчавая и жесткая, как конский волос, идущий на обивку мебели, очки с толстыми, сверкающими стеклами и вид человека, которого наука закалила, сделала холодным и наделила снисходительным пессимизмом; своей резкостью и замкнутостью он покоряет больных — людей слишком слабых, чтобы самим устанавливать себе законы и их придерживаться, и отдающих ему свое состояние за право находить опору в его суровости.

Что касается фрейлейн фон Остерло, то она ведет хозяйство поистине самозабвенно. Боже мой, как деловито бегают она вверх и вниз по лестницам, как торопится из одного конца санатория в другой! Она властвует на кухне и в кладовой, роется в бельевых шкафах, командует прислужкой и ведаёт питанием, руководствуясь соображениями экономии, гигиены, вкуса и внешнего изящества, она хозяйничает с неистовой осмотрительностью, и во всей ее бурной деятельности кроется постоянный упрек всей мужской части человечества, ни один представитель которой до сих пор не догадался жениться на ней. Впрочем, на щеках ее двумя круглыми малиновыми пятнами неугасимо горит надежда стать в один прекрасный день супругой доктора Леандера...

Озон и тихий, тихий воздух... Что бы ни говорили завистники и конкуренты доктора Леандера, легочным больным следует самым настоятельным образом рекомендовать «Эйнфрид». Но здесь обитают не только чахоточные, здесь есть и другие пациенты, мужчины, дамы, даже дети: доктор Леандер может похвастаться успехами в самых различных областях медицины. Есть здесь страдающие желудочными болезнями, — например, советница Шпатц, у которой, кроме того, больные уши, есть пациенты с пороком сердца, паралитики, ревматики, есть разного рода нервноболезные. Один генерал-диабетик, непрестанно ворча, проедает здесь свою пенсию. Некоторые здешние пациенты, господа с истощенными лицами, не могут совладать со своими ногами — ноги у этих господ то и дело дергаются, что наводит на самые грустные размышления. Пятидесятилетняя дама, пасторша Геленраух, которая произвела на свет девятнадцать детей и уже совершенно ни о чем не способна думать, тем не менее не может угомониться и вот уже целый год, снедаемая безумным беспокойством и жуткая в своем оцепенелом безмолвии, бесцельно бродит по всему дому, опираясь на руку приставленной к ней сиделки.

Время от времени умирает кто-нибудь из «тяжелых», которые лежат по своим комнатам и не появляются ни за столом, ни в гостиной, и никто, даже их непосредственные соседи, ничего об этом не узнают. Глубокой ночью воскового постояльца уносят, и снова жизнь в «Эйнфриде» идет своим чередом — массажи, электризация, инъекции, души, ванны, гимнастика, потогонные процедуры, ингаляции, — все это в различных помещениях, оборудованных новейшими приспособлениями...

Право же, здесь всегда царит оживление. Швейцар, стоящий у входа в боковую пристройку, звонит в колокол, когда прибывают новые пациенты, и торжественно одетый доктор

Леандер вместе с фрейлейн фон Остерло провожает отъезжающих до экипажа. Каким только людям не давал приюта «Эйнфрид»! Есть тут даже писатель, эксцентричный человек, он носит фамилию, звучащую, как название минерала или драгоценного камня, и, живя здесь, похищает дни у господ бога...

Кроме доктора Леандера, в «Эйнфриде» имеется еще один врач — для легких случаев и для безнадежных больных. Но его фамилия Мюллер, и вообще он не стоит того, чтобы о нем говорили.

В начале января коммерсант Клетериан — фирма «А.-Ц. Клетериан и К°» — привез в «Эйнфрид» свою супругу; швейцар зазвонил в колокол, и фрейлейн фон Остерло встретила приехавшую издалека чету в приемной, которая помещалась в нижнем этаже и, как почти весь этот старый, величественный дом, являла собой удивительно чистый образец стиля ампир.

Тотчас же вышел доктор Леандер, он поклонился, и началась первая, поучительная для обеих сторон беседа.

Клумбы в саду были по-зимнему покрыты матами, гроты — занесены снегом, беседки стояли в запустении; два санаторных служителя несли чемоданы приехавших — коляска остановилась на шоссе, у решетчатой калитки, потому что к самому дому подъезда не было.

— Не спеши, Габриэла, take care¹, мой ангел, не открывай рот, — говорил господин Клетериан, ведя жену через сад; и к этому «take care» при одном взгляде на нее с нежностью и трепетом присоединился бы в душе всякий, — хотя нельзя отрицать, что господин Клетериан с таким же успехом мог бы сказать это и по-немецки.

Кучер, привезший их со станции, человек грубый, неотесанный и не знающий тонкого обхождения, прямо-таки, рот разинул в беспомощной озабоченности, когда коммерсант помогал своей супруге вылезти из экипажа; казалось даже, что оба гнедых, от которых в тихом морозном воздухе поднимался пар, скосив глаза, взволнованно наблюдали за этим опасным предприятием, тревожась за столь хрупкую грацию и столь нежную прелесть.

Как ясно было сказано в письме, которое господин Клетериан предварительно послал с Балтийского побережья главному врачу «Эйнфрида», молодая женщина страдала болезнью дыхательного горла, — слава богу, дело тут было не в легких! Но если бы даже она страдала болезнью легких все равно эта новая пациентка не могла бы выглядеть прелестнее, благороднее и бесплотнее, чем сейчас, когда она, покойно и устало откинувшись на высокую спинку белого кресла, сидела рядом со своим коренастым супругом и прислушивалась к разговору. Ее красивые бледные руки, украшенные только простым обручальным кольцом, лежали на коленях, в складках тяжелой и темной суконной юбки; узкий серебристо-серый жакет, с плотным стоячим воротником, был сплошь усеян накладными бархатными узорами. Но от тяжелых и плотных тканей невыразимо нежная, миловидная и хрупкая головка молодой женщины казалась еще более трогательной, милой и неземной. Ее каштановые волосы, стянутые в узел на затылке, были гладко причесаны, и только одна вьющаяся прядь падала на лоб возле правого виска, где маленькая, странная, болезненная жилка над четко обрисованной бровью нарушала своим бледно-голубым разветвлением ясную чистоту почти прозрачного лба. Эта голубая жилка у глаза тревожно господствовала над всем тонким овалом лица. Она становилась заметнее, как только женщина начинала говорить; и даже когда она улыбалась, эта жилка придавала ее лицу какое-то напряженное, пожалуй, даже угнетенное выражение, внушавшее смутный страх. Тем не менее она говорила и улыбалась. Говорила непринужденно и любезно, несколько приглушенным голосом и улыбалась усталыми, казалось готовыми вот-вот закрыться глазами, на углы которых, по обе стороны узкой переносицы, ложилась густая тень, и красивым, широким ртом бледным, но как бы светившимся потому, может быть, что губы ее были очень уж резко и ясно очерчены. Изредка она покашливала. Тогда она подносила ко рту платок и затем рассматривала его.

¹ Осторожно (англ.)

— Не надо кашлять, Габриэла, — сказал господин Клетериан. — Ты ведь помнишь, darling¹, что доктор Гинцпетер решительно запретил тебе кашлять, нужно только взять себя в руки, мой ангел. Вся беда, как я уже сказал, в дыхательном горле, — повторил он. — Когда это началось, я и впрямь подумал, что неладно с легкими, и бог знает как испугался. Но дело тут не в легких, нет, черт побери, таких вещей мы не допустим, а, Габриэла? Хе-хе!

— Несомненно, — сказал доктор Леандер и сверкнул очками в ее сторону.

Затем господин Клетериан спросил кофе, — кофе и сдобных булочек; звук «к», казалось, образуется у него где-то глубоко в глотке, а слово «булочка» он произносил так, что у каждого, кто его слышал, должен был появиться аппетит.

Он получил все, что спрашивал, получил также комнаты для себя и для своей супруги, и они пошли устраиваться.

Между прочим, наблюдение над больной доктор Леандер взял на себя а не поручил доктору Мюллеру.

Новая пациентка привлекла всеобщее внимание в «Эйнфриде», и господин Клетериан, привыкший к успехам жены, с удовлетворением принимал все знаки расположения, ей оказываемого. Когда генерал-диабетик увидел в первый раз, он на мгновение перестал ворчать, господа с испитыми лицами в ее присутствии улыбались и усиленно старались справиться со своими ногами, а советница Шпатц тотчас же взяла на себя роль ее старшей подруги. Да, она производила впечатление, эта женщина, носившая фамилию господина Клетериана! Писатель, уже несколько недель живший в «Эйнфриде», удивительный субъект, фамилия которого звучала как название драгоценного камня, побледнел, когда она прошла мимо него по коридору, — он остановился и, казалось, прирос к месту, хотя она давно уже удалилась.

Не прошло и двух дней, как все санаторное общество узнало ее историю. Родилась она в Бремене, что, впрочем, было заметно по некоторым милым ошибкам в ее произношении, и там же два года назад дала согласие стать женой, коммерсанта Клетериана. Он увез ее на Балтийское побережье, в свой родной город, где она, месяцев десять назад, в страшных мучениях и с опасностью для жизни, подарила ему сына и наследника, поразительно живого и удачного ребенка. Но после тех ужасных дней силы так и не вернулись к ней, если, разумеется, у нее вообще когда-либо были силы. Едва она поднялась после родов, до предела измученная, до предела ослабевшая, как у нее во время кашля показалась кровь — о, совсем немного крови, так, чуть-чуть, — но лучше ей вообще бы вовсе не показываться, а самое тягостное было, что неприятное это происшествие вскоре повторилось. Ну, против этого, конечно, имелись средства, и доктор Гинцпетер; домашний врач, пустил их в ход. Больной был предписан полный покой, она должна была глотать кусочки льда, против позывов кашля ей прописали морфий, а на сердце воздействовали всевозможными успокоительными лекарствами. Выздоровление, однако, не наступало, и в то время как мальчик, Антон Клетериан-младший, великолепный ребенок, с невероятной энергией и бесцеремонностью завоевывал и утверждал свое место в жизни, его молодая мать, казалось, угасала медленно и тихо... Всею причиной было, как уже говорилось, дыхательное горло — эти два слова в устах доктора Гинцпетера звучали на редкость утешительно, успокаивающе, почти весело. И хотя с легкими было все в порядке, доктор в конце концов нашел, что более мягкий климат и пребывание в лечебном заведении крайне желательны для скорейшего исцеления, а добрая слава санатория «Эйнфрид» и его главного врача определили остальное.

Так обстояли дела, и Господин Клетериан самолично рассказал все это каждому, кто желал его слушать. Говорил он громко, небрежно и добродушно, как человек, пищеварение и кошелек которого находятся в полном порядке, быстро шевеля выпяченными губами, — манера, свойственная жителям северного побережья. Некоторые слова он выпаливал с такой быстротою, что они походили на маленький взрыв, и при этом смеялся, словно от удачной шутки.

¹ Дорогая (англ.)

Среднего роста, широкий, крепкий, коротконогий, с полным красным лицом, водянисто-голубыми глазами, белесыми ресницами, большими ноздрями и влажными губами, он носил английские бакенбарды, одевался по-английски и явно пришел в восторг, застав в «Эйнфриде» английское семейство — отца, мать и троих очень красивых детей с их purse¹, — семейство, которое пребывало здесь единственно потому, что не ведало, где же ему еще пребывать, и с которым он по утрам завтракал на английский манер. Он вообще любил хорошо поесть и выпить, показал себя настоящим знатоком кухни и погреба и чудесно развлекал санаторное общество рассказами об обедах, которые давались у него на родине в кругу его знакомых, а также описаниями некоторых изысканных, неизвестных здесь блюд.

При этом глаза его принимали ласковое выражение и сужались, а в голосе появлялись какие-то нёбные и носовые звуки, сопровождавшиеся легким причмокиванием. Что он не является принципиальным противником и других земных радостей, выяснилось в тот вечер, когда один из пациентов «Эйнфрида», писатель по профессии, стал в коридоре свидетелем его не вполне дозволенных шуток с горничной, и это маленькое комичное происшествие вызвало у писателя донельзя брезгливую гримаску.

Что касается супруги господина Клетериана, то она была явно предана ему всей душой. Улыбаясь, следила она за его словами и движениями — не с высокомерной снисходительностью, с которой страждущие подчас относятся к здоровым, а с той участливой радостью, которую встречают у добродушных больных уверенные действия людей, чувствующих себя весьма неплохо.

Господин Клетериан пробыл в «Эйнфриде» недолго. Он привез сюда свою супругу и через неделю покинул санаторий, удостоверившись, что она хорошо устроена и находится в надежных руках. Два дела одинаковой важности звали его на родину: его цветущее дитя и его процветающая фирма. Итак, обеспечив жене самый лучший уход, он вынужден был уехать.

Шпинель была фамилия писателя, который уже несколько недель жил в «Эйнфриде». Детлеф Шпинель звали его, и внешность у него была необычная.

Представьте себе брюнета лет тридцати с небольшим, хорошо сложенного, с заметно седеющими у висков волосами, на круглом, белом, чуть одутловатом лице которого нет даже намека на бороду. Лица он не брил — это сразу бросалось в глаза, — мягкое, гладкое, мальчишеское, оно только кое-где было покрыто реденьким пушком. И выглядело это очень странно. Блестящие, светло-карие глаза господина Шпинеля выражали кротость, нос у него был короткий и, пожалуй, слишком мясистый. Пористая верхняя губа его выдавалась, вперед, как у римлянина, у него были крупные зубы и громадные ноги. Один из господ, не умевших справиться со своими ногами, остряк и циник, прозвал его за глаза «гнилой сосунок», но это было скорее зло, чем метко... Одевался господин Шпинель хорошо и по моде — в длинный черный сюртук и пестрый жилет.

Он был нелюдим и ни с кем не общался. Лишь изредка находили на него приливы общительности и любвеобилия, избыток чувств, и случалось это, когда господин Шпинель впадал в эстетический восторг, восхищаясь каким-нибудь красивым зрелищем — сочетанием двух цветов, вазой благородной формы или освещенными закатом горами. «Как красиво! — говорил он, склонив голову, растопырив руки и сморщив губы и нос. — Боже, поглядите, как красиво!» В такие мгновения он готов был заключить в объятия самую чопорную особу, будь то мужчина или женщина...

На столе у него, на самом виду, постоянно лежала книга его собственного сочинения. Это был не очень объемистый роман с весьма странным рисунком на обложке, напечатанный на бумаге одного из тех сортов, которые употребляются для процеживания кофе, шрифтом, каждая буква которого походила на готический собор. Фрейлейн фон Остерло как-то в свободную минуту прочитала роман и нашла его «рафинированным», а это слово встречалось в

¹ Няня (англ.)

ее суждениях тогда, когда нужно было сказать «безумно скучно». Действие романа происходило в светских салонах, в роскошных будуарах, битком набитых изысканными вещами — гобеленами, старинной мебелью, дорогим фарфором, роскошными тканями и всякого рода драгоценнейшими произведениями искусства. В описание этих предметов автор вложил немало любви, и, читая их, сразу можно было представить себе господина Шпинеля в мгновения, когда он морщит нос и говорит: «Боже, смотрите, как красиво!» Удивительно было то, что никаких других книг, кроме этой одной, он не написал, а писал он явно со страстью. Большую часть дня он проводил в своей комнате за этим занятием и отсылал на почту на редкость много писем — почти ежедневно одно или два, — сам же, как это ни смешно и ни странно, получал их крайне редко.

За столом господин Шпинель сидел напротив жены господина Клетериана. К первому после их приезда обеду он явился с некоторым опозданием. Войдя в просторную столовую, помещавшуюся в первом этаже пристройки, он негромко сразу со всеми поздоровался и прошел к своему месту, после чего доктор Леандер без долгих церемоний представил его вновь прибывшим. Господин Шпинель поклонился и не без смущения принялся за еду, причем его белые, красиво вылепленные руки, торчавшие из очень узких рукавов, несколько аффектированно орудовали ножом и вилкой. Вскоре он почувствовал себя свободнее и стал потихоньку поглядывать то на господина Клетериана, то на его супругу. Господин Клетериан в продолжение обеда несколько раз обращался к нему с вопросами и замечаниями относительно условий жизни в «Эйнфриде» и местного климата, жена его мило вставляла словечко-другое, и господин Шпинель учтиво отвечал им. Голос у него был мягкий и довольно приятный; но говорил он с некоторым усилием и захлебываясь, словно зубы его мешали языку.

Когда после обеда все перешли в гостиную и доктор Леандер, обратившись к новым постояльцам, пожелал, чтобы обед пошел им на доброе здоровье, супруга господина Клетериана осведомилась о своем визави.

— Как зовут этого господина? — спросила она. — Шпинелли? Я не разобрала его фамилию.

— Шпинель... не Шпинелли, сударыня. Нет, он не итальянец, и родом он всего-навсего из Львова, насколько мне известно...

— Что вы сказали? Он писатель? Или кто? — поинтересовался господин Клетериан; держа руки в карманах своих удобных английских брюк, он подставил ухо доктору и раскрыл рот, как иные делают, чтобы лучше слышать.

— Не знаю, право, — он пишет... — ответил доктор Леандер. — Он издал, кажется, книгу, какой-то роман, право, не знаю...

Это повторное «не знаю» давало понять, что доктор Леандер не очень-то дорожит писателем и снимает с себя всякую ответственность за него.

— О, ведь это же очень интересно! — воскликнула супруга господина Клетериана. До сих пор ей ни разу не приходилось видеть писателя.

— Да, — предупредительно ответил доктор Леандер, — он пользуется, кажется, некоторой известностью...

Больше они о писателе не говорили.

Но немного позднее, когда новые постояльцы ушли к себе и доктор Леандер тоже собирался покинуть гостиную, господин Шпинель задержал его и, в свою очередь, навел справки.

— Как фамилия этой четы? — спросил он. — Я, конечно, ничего не разобрал.

— Клетериан, — ответил доктор Леандер и пошел дальше.

— Как его фамилия? — переспросил господин Шпинель.

— Клетериан их фамилия, — сказал доктор Леандер и пошел своей дорогой. Он отнюдь не дорожил писателем.

Мы уже как будто дошли до возвращения господина Клетериана на родину? Да, он снова был на Балтийском побережье, с ним были его коммерческие дела, с ним был его сын, бесцеремонное, полное жизни маленькое существо, стоившее матери столько страданий и легкого заболевания дыхательного горла. Что касается самой молодой женщины, то она осталась в «Эйнфриде», и советница Шпатц взяла на себя роль ее старшей подруги. Это, однако, не мешало супруге господина Клетериана находиться в добрых отношениях и с прочими пациентами, — например, с господином Шпинелем, который, ко всеобщему удивлению (ведь до сих пор он ни с одной живой душой не общался), сразу же стал с ней необычайно предупредителен и услужлив и с которым она не без удовольствия болтала в часы отдыха, предусмотренные строгим режимом дня.

Он приближался к ней с невероятной осторожностью и почтительностью и говорил не иначе как заботливо понизив голос, так что тугая на ухо советница Шпатц обычно не разбирала ни одного его слова. Ступая на носки своих больших ног, он подходил к креслу, в котором, с легкой улыбкой на лице, покоилась супруга господина Клетериана, останавливался в двух шагах от нее, причем одну ногу он отставлял назад, а туловищем подавался вперед, и говорил тихо, проникновенно, с некоторым усилением и слегка захлебываясь, готовый в любое мгновение удалиться, исчезнуть, лишь только малейший признак усталости или скуки промелькнет на ее лице. Но он не был ей в тягость; она приглашала его посидеть с ней и с советницей, обращалась к нему с каким-нибудь вопросом и затем, улыбаясь, с любопытством слушала его, потому что иногда он говорил такие занимательные и странные вещи, каких ей никогда еще не доводилось слышать.

— Почему вы, собственно, находитесь в «Эйнфриде», господин Шпинель? — спросила она. — Какой курс лечения вы здесь проходите?

— Лечение?.. Хожу на электризацию. Да нет, это сущие пустяки, не стоит о них и говорить. Я вам скажу, сударыня, почему я здесь нахожусь... Ради здешнего стиля.

— Вот как, — сказала супруга господина Клетериана, подперев рукой подбородок, и повернулась к господину Шпинелю с преувеличенно заинтересованным видом; так подыгрывают ребенку, когда он собирается что-нибудь рассказать.

— Да, сударыня, «Эйнфрид» — это чистый ампи́р. Говорят, когда-то здесь был замок, летняя резиденция. Это крыло — позднейшая пристройка, но главное здание сохранилось нетронутым. Иногда вдруг я чувствую, что никак не могу обойтись без ампи́ра, временами он мне просто необходим, чтобы сохранить сносное самочувствие. Ведь так понятно, что среди мягкой и чрезмерно удобной мебели чувствуешь себя иначе, чем среди этих прямых линий столов, кресел и драпировок... Эта ясность и твердость, эта холодная, суровая простота, сударыня, поддерживают во мне собранность и достоинство, они внутренне очищают меня, восстанавливают мои душевные силы, возвышают нравственно, без сомнения...

— Да, это любопытно, — сказала она. — Впрочем, я наверное смогу это понять, если постараюсь.

Он отвечал, что не стоит стараться, и оба они рассмеялись. Советница Шпатц тоже рассмеялась и нашла, что все это любопытно, но она не сказала, что сможет это понять.

Гостиная в «Эйнфриде» была просторная и красивая. Высокая белая двустворчатая дверь обычно стояла распахнутой в бильярдную, где развлекались господа с непокорными ногами и другие пациенты. С другой стороны застекленная дверь открывала вид на широкую террасу и сад.

Сбоку от нее стояло пианино. Был здесь и обитый зеленым сукном ломберный стол, за которым генерал-диабетик и еще несколько мужчин играли в вист. Дамы читали или занимались рукоделем. Комната отапливалась железной печью, но уютнее всего было беседовать у изящного камина, где лежали поддельные угли, оклеенные полосками красноватой бумаги.

— Рано вы любите вставать, господин Шпинель, — сказала супруга господина Клетериана. — Мне случалось уже два или три раза видеть, как вы выходите из дому в половине восьмого утра.

— Я люблю рано вставать? Ах, вовсе нет, сударыня. Я, видите ли, рано встаю потому, что, собственно, люблю поспать.

— Ну, вам придется это пояснить мне, господин Шпинель.

Советница Шпатц тоже потребовала пояснения.

— Как вам сказать... если человек любит рано вставать, то ему, по-моему, и незачем подниматься ранним утром. Совесть, сударыня... скверная это штука! Я и мне подобные, мы всю жизнь только о том и печемся, только тем и озабочены, чтобы обмануть свою совесть, чтобы ухитриться доставить ей хоть маленькую радость. Бесполезные мы существа, я и мне подобные, и, кроме редких хороших часов, мы всегда уязвлены и пришиблены сознанием собственной бесполезности. Мы презираем полезное, мы знаем, что оно безобразно и низко, и отстаиваем эту истину так, как отстаивают лишь насущно необходимые истины. И тем не менее мы вконец истерзаны муками совести. Мало того, вся наша внутренняя жизнь, наше мировоззрение, наша манера работать... таковы, что они воздействуют на наш организм самым нездоровым, самым губительным и разрушительным образом, и это еще ухудшает положение. Тут-то и появляются на сцену всевозможные успокоительные средства, без которых мы бы просто не выдержали. Многие из нас, например, чувствуют потребность в упорядоченном, строго гигиеническом образе жизни. Ранний, немилосердно ранний подъем, холодная ванна, прогулка по снегу... Благодаря этому мы хоть немножко, хоть какой-нибудь час бываем довольны собой. А дай я себе волю, я бы, поверьте, полдня пролежал в постели. Если я рано встаю, то это, собственно, лицемерие.

— Нет, отчего же, господин Шпинель! Я нахожу, что это сила воли... Не правда ли, госпожа советница?

Госпожа советница согласилась, что это сила воли.

— Лицемерие или сила воли, сударыня! Кому какое слово больше нравится. Я, право, на все смотрю настолько грустно, что...

— Вот именно. Ну, конечно же, вы слишком много грустите.

— Да, сударыня, мне часто бывает грустно.

Дни стояли прекрасные. В ослепительной яркости морозного безветрия, в голубоватых тенях, ясные и чистые, белели земля, горы, дом и сад, и надо всем этим поднимался безоблачный свод нежно-голубого неба, в котором, казалось, пляшут мириады сверкающих пылинок и блестящих кристаллов. Супруга господина Клетериана чувствовала себя в эти дни сносно; жара у нее не было, она почти не кашляла и ела без особого отвращения. Целыми часами, как ей было предписано, сидела она на террасе в морозную солнечную погоду. Сидела среди снегов, закутанная в одеяла и меха, и с надеждой вдыхала чистый, ледяной воздух, полезный для ее дыхательного горла. Иногда она видела, как прохаживается по саду господин Шпинель, тоже тепло одетый, в меховых сапогах, придававших уже просто фантастические размеры его ногам. Он осторожно ступал по снегу, и в положении его рук была какая-то настороженность, какое-то застывшее изящество; подходя к террасе, он почтительно здоровался с госпожой Клетериан и поднимался на несколько ступенек, чтобы завязать разговор.

— Сегодня во время утренней прогулки я видел красивую женщину... Боже мой, как она была красива! — говорил он, наклонив голову к плечу и растопырив руки.

— В самом деле, господин Шпинель? Опишите же мне ее!

— Нет, не могу. Если б я это сделал, я бы дал вам о ней неверное представление. Проходя мимо этой дамы, я едва успел окинуть ее взглядом, по-настоящему я ее не видел. Но смутной тени, мелькнувшей передо мной, было достаточно, чтобы разбудить мое воображение, и я унес с собою прекрасный образ... Боже, какой прекрасный!

Она засмеялась:

— Вы всегда так смотрите на красивых женщин, господин Шпинель?

— Да, сударыня; и это лучше, чем глазеть грубо и жизнежадно и уносить с собой воспоминание о несовершенной действительности.

— Жизнежадно... Вот так слово! Настоящее писательское слово, господин Шпинель! Но, знаете, оно мне запомнится. Я его немного понимаю, в нем есть что-то независимое и свободное, какое-то неуважение к жизни, хотя жизнь — это самая почтенная вещь на свете, это сама почтенность... И мне становится ясно, что, кроме осязаемых вещей, существует нечто более нежное...

— Я знаю только одно лицо... — сказал он вдруг необычайно радостным и растроганным голосом, высоко подняв сжатые в кулаки руки и обнажив гнилые зубы в восторженной улыбке. — Я знаю только одно лицо, которое так благородно в жизни, что кощунственно было бы исправлять его воображением. Я бы глядел на него, я бы любовался им не отрываясь, не минутами, не часами, а всю жизнь, я бы весь растворился в нем и забыл все земное...

— Да, да, господин Шпинель. Но все же уши у фрейлейн фон Остерло немного торчат...

Он умолк и низко опустил голову. Когда он снова выпрямился, глаза его со смущением и болью глядели на маленькую, странную жилку, бледно-голубое разветвление которой болезненно нарушало ясность почти прозрачного лба.

Чудак, поразительный чудак! Супруга господина Клетериана иногда думала о нем, потому что у нее было много времени для раздумья. То ли перестала действовать перемена климата, то ли появилось какое-то новое вредное влияние, — но здоровье ее ухудшилось, состояние дыхательного горла оставляло желать лучшего, она чувствовала себя слабой, усталой, аппетит пропал, ее часто лихорадило; доктор Леандер самым решительным образом велел ей соблюдать полный покой и не волноваться. И вот, если ей не приходилось прилечь, то она сидела в обществе советницы Шпатц, молчала и, празднично положив рукоделье на колени, задумывалась.

Да, он заставлял ее задумываться, этот чудаковатый господин Шпинель, и странно — не столько о нем, сколько о себе самой; каким-то образом он вызвал в ней странное любопытство, неизвестный ей дотоле интерес к самой себе. Однажды, среди разговора, он сказал:

«Загадочное все-таки существо женщина... как это ни старо, все равно останавливаешься перед ним и только диву даешься. Вот перед тобой чудесное создание, нимфа, цветок благоуханный, не существо, а мечта.

И что же она делает? Идет и отдается ярмарочному силачу или мяснику.

Потом является под руку с ним или даже склонив голову на его плечо и глядит на всех с лукавой улыбкой, словно говоря: «Пожалуйста, удивляйтесь, ломайте себе головы!» Вот мы их себе и ломаем...»

К этим словам не раз возвращались мысли супруги господина Клетериана.

В другой раз, к удивлению советницы Шпатц, между ними произошел следующий разговор.

— Позвольте вас спросить, сударыня (может быть, это нескромно), как вас зовут, как, собственно, ваша фамилия?

— Вы же знаете, что моя фамилия Клетериан, господин Шпинель!

— Гм... Это я знаю. Вернее — я это отрицаю. Я имею в виду вашу собственную, вашу девичью фамилию. Будьте справедливы, сударыня, и согласитесь, что тот, кто называет вас «госпожа Клетериан», заслуживает, чтобы его высекли.

Она так искренне рассмеялась, что голубая жилка до ужаса отчетливо выступила у нее над бровью, придав ее нежному и милому лицу напряженное, болезненное выражение.

— Смилуйтесь, господин Шпинель! Высечь! Да неужели «Клетериан» такая гадкая фамилия, по-вашему?

— Да, сударыня, я от всего сердца возненавидел эту фамилию, как только услышал ее. Она смешная, можно прийти в отчаяние от ее безобразия, и это просто варварство и подлость — в угоду обычаю называть вас по фамилии мужа.

— Ну, а Экхоф? Разве Экхоф красивее? Фамилия моего отца Экхоф!

— А, вот видите! Эххоф — это уже совсем другое дело! Даже один большой актер носил фамилию Эххоф. С этой фамилией я помирюсь. Вы упомянули только об отце. Разве ваша матушка...

— Да, моя мать умерла, когда я была еще маленькой.

— Ах, вот как. Расскажите же мне немного больше о себе, прошу вас. Но если это вас утомляет, не надо. Тогда — лучше молчите, а я буду опять рассказывать вам о Париже, как в тот раз. Но вы могли бы говорить совсем тихо. Правда, если вы будете говорить шепотом, то от этого ваш рассказ станет только прекраснее... Вы родились в Бремене? — Этот вопрос он задал почти беззвучно, с благоговейным и значительным выражением, как будто Бремен — город, не имеющий себе равных, город неописуемых приключений и скрытых красот, родиться в котором — значит быть отмеченным таинственной благодатью.

— Да, представьте себе! — невольно сказала она. — Я из Бремена.

— Я был там однажды, — произнес он задумчиво.

— Боже мой, вы и там были? Вы, господин Шпинель, по-моему, видели все, от Туниса до Шпицбергена.

— Да, я был там однажды, — повторил он. — Всего несколько часов, вечером. Я помню старинную узкую улицу, над ее островерхими крышами косо и странно висела луна. Потом я был еще в погребке, где пахло вином и гнилью. Это такие волнующие воспоминания...

— В самом деле? Где же это могло быть? Да, я тоже родилась в таком вот сером доме с островерхой крышей, в старом купеческом доме с гулкими полами и побеленной галереей.

— Ваш батюшка, стало быть, купец? — спросил он, помедлив.

— Да. Но прежде всего он артист.

— А! А! В каком же роде?

— Он играет на скрипке... Но это мало что говорит. Важно, как он играет, господин Шпинель! При некоторых звуках у меня всегда навертывались на глаза жгучие слезы, каких у меня больше никогда не бывало. Вы не поверите...

— Я верю! Ах, верю ли я... Скажите мне, сударыня, семья ваша, конечно, старинная? Должно быть, уже не одно поколение жило, работало и ушло в лучший мир в этом сером доме с островерхой крышей?

— Да... Почему, собственно, вы об этом спрашиваете?

— Потому что часто случается, что род, в котором живут практические, бюргерские, трезвые традиции, к концу своих дней вновь преображает себя в искусство.

— Разве?... Да, что касается моего отца, то он, конечно, больше артист, чем многие другие, которые именуют себя артистами и живут своей славой.

А я только немного играю на рояле. Теперь они мне запретили играть, но тогда, дома, я еще играла. Отец и я, мы играли вдвоем... Да, я люблю вспоминать эти годы; особенно мне помнится сад, наш сад за домом, страшно запущенный, весь заросший, кругом облупившиеся, замшелые стены, но именно от этого он был такой очаровательный. Посредине сада, в плотном кольце сабельника, бил фонтан. Летом я, бывало, целые часы проводила там с подругами. Мы сидели на складных стульчиках вокруг фонтана.

— Как красиво! — сказал господин Шпинель, вздернув плечи. — Вы сидели и пели?

— Нет, чаще всего мы вязали.

— Все равно... всё равно...

— Да, мы рукодельничали и болтали, шесть моих подружек и я...

— Как красиво! Боже мой, подумать только, как красиво! — воскликнул господин Шпинель, и лицо его исказилось.

— Да что в этом такого красивого, господин Шпинель?

— О, то, что шесть их было, кроме вас, что вы не входили в это число, а выделялись среди них, как королева... Вы были особо отмечены в кругу своих подруг. Маленькая золотая корона, невидимая, но полная значения, сияла у вас в волосах...

— Что за глупости, какая еще корона...

— Нет, она сияла незримо. Я бы увидел ее, я бы ясно увидел ее у вас в волосах, если бы, никем не замеченный, спрятался в зарослях в такой час...

— Один бог ведает, что бы вы увидели. Но вас там не было, зато мой теперешний муж — вот кто однажды вышел с отцом из кустарника. Боюсь, что они даже подслушивали нашу болтовню...

— Там, значит, вы и познакомились с вашим супругом, сударыня?

— Да, там я с ним и познакомилась, — сказала она громко и весело, и когда она улыбнулась, нежно-голубая жилка, как-то странно напрягшись, выступила у нее над бровью. — Он приехал к моему отцу по делам. На следующий день его пригласили отобедать у нас, а еще через три дня он попросил моей руки.

— Вот как? Все шло с такой необычайной быстротой?

— Да... то есть с этого момента все пошло уже немного медленней. Отец, собственно, не собирался выдавать меня замуж, он выговорил себе довольно долгий срок на размышление. Ему хотелось, чтобы я осталась с ним, кроме того, у него были и другие соображения. Но...

— Но?..

— Но я этого хотела, — сказала она, улыбаясь, и снова бледно-голубая жилка придавала ее милому лицу печальное и болезненное выражение.

— Ах, вы этого хотели.

— Да, и, как видите, я проявила достаточно твердую волю...

— Я вижу. Да.

— ...так что отцу в конце концов пришлось уступить.

— И вы покинули его и его скрипку, покинули старый дом, заросший сад, фонтан и шестерых своих подруг и ушли с господином Клетерианом.

— И ушла... Ну и манера говорить у вас, господин Шпинель! Прямо библейская!.. Да, я все это покинула, потому что такова воля природы.

— Да, воля ее, видно, такова.

— И к тому же дело шло о моем счастье.

— Разумеется. И оно пришло, это счастье...

— Оно пришло в тот миг, господин Шпинель, когда мне в первый раз принесли маленького Антона, нашего маленького Антона, и он закричал во всю силу своих маленьких здоровых легких, милый наш здоровячек...

— Вы уже не первый раз говорите мне о здоровье вашего маленького Антона, сударыня. Он, должно быть, на редкость здоровый ребенок?

— Да. И он до смешного похож на моего мужа.

— А!.. Вот как, значит, все это было. И теперь вы уже не Экхоф, вы носите другую фамилию, у вас есть маленький здоровый Антон, и ваше дыхательное горло не совсем в порядке.

— Да... А вы необыкновенно загадочный человек, господин Шпинель, смею вас уверить...

— Накажи меня бог, если это не так! — сказала советница Шпатц, тоже, кстати сказать, сидевшая рядом.

Супруга господина Клетериана не раз мысленно возвращалась к этому разговору. Несмотря на всю его незначительность, в нем таилось нечто дававшее пищу ее размышлениям о самой себе. И не в этом ли заключалось вредоносное влияние, которое сказывалось на ней? Слабость ее возрастала, у нее часто появлялся жар, тихое горение, коему она отдавалась спокойно и торжественно, проникаясь задумчивостью, жеманностью, самодовольством и немного обидой. Когда она не лежала в постели и господин Шпинель, с невероятной осторожностью ступая на носки своих огромных ног, подходил и замирал в двух шагах от нее, всем туловищем подавшись вперед; когда он говорил с ней почтительно приглушенным голосом, словно поднимал ее высоко вверх и бережно, в робком благоговении усаживал на облако, куда не проникнут резкие звуки, где ничем не напомнит о себе земля, — она вспоминала, каким тоном произносил свою обычную фразу господин Клетериан: «Осторожно, Габриэла, take care, мой

ангел, не открывай рот!» Тон этот напоминал сильное и доброжелательное похлопывание по плечу. Но она сразу же гнала прочь это воспоминание, чтобы чувствовать приятную слабость и покоиться на облаке, которое предупредительно расстилал для нее господин Шпинель.

Однажды она без всякого повода вернулась к разговору относительно своего происхождения и юности.

— Значит, вы бы, господин Шпинель, — сказала она, — непременно увидели корону?

И хотя говорили они об этом недели две назад, он тотчас же понял, о чем идет речь, и взволнованно стал уверять ее, что тогда, у фонтана, где она сидела среди шести своих подруг, он непременно увидел бы, как сияет, как незримо сияет корона у нее в волосах.

Несколько дней спустя один из пациентов вежливо осведомился у нее, как поживает сейчас маленький Антон. Она бросила быстрый взгляд на господина Шпинеля, который был при этом, и со скучающим видом ответила:

— Благодарю вас; как же ему поживать? У него и у моего мужа дела хороши.

В конце февраля, в морозный день, более ясный и более ослепительный, чем все предыдущие, «Эйнфрид» охватила веселая суэта. Больные, страдавшие пороком сердца, беседовали так оживленно, что на щеках у них выступил румянец, генерал-диабетик напевал, как мальчишка, а господа, не справлявшиеся со своими ногами, были положительно вне себя. Что случилось? Нечто весьма важное: решено было устроить катанье, поехать в горы — на нескольких санях, под шелканье бичей и звон колокольчиков: Доктор Леандер придумал это для развлечения своих пациентов.

Конечно, «тяжелые» должны были остаться дома. Бедняги «тяжелые»!

Выразительно поглядывая друг на друга, все остальные сговорились скрыть от них эту затею: ведь так приятно иногда проявить сострадание и показать свою чуткость. Но дома остался и кое-кто из тех, что отлично могли бы участвовать в увеселительной поездке. Что касается фрейлейн фон Остерло, то на нее никто не был в претензии. Люди, обремененные столь многочисленными обязанностями, не могут позволить себе такой роскоши, как катанье на санках. Хозяйство настоятельно требовало ее присутствия; одним словом, она осталась в «Эйнфриде». Но что супруга господина Клетериана тоже изъявила желание остаться дома, это уж совсем никуда не годилось. Напрасно твердил ей доктор Леандер, что свежий воздух будет для нее благодетелем, она уверяла, что у нее нет настроения кататься, что она страдает мигренью, что чувствует себя плохо, и в конце концов пришлось ей уступить. Упомянутому уже ранее остряку и цинику это дало повод заметить: «Вот посмотрите, теперь гнилой сосунок тоже не поедет».

И он оказался прав: господин Шпинель заявил, что хочет сегодня поработать: он очень любил обозначать свою сомнительную деятельность словом «работать». Впрочем, его отказ от поездки ровно никому не причинил огорчения, и так же легко все примирились с решением советницы Шпатц: она предпочла остаться в обществе своей подруги, так как от всякой езды ее укачивало.

Сразу же после обеда, который сегодня состоялся уже в двенадцать часов, к «Эйнфриду» подали сани, и группы пациентов, оживленных, тепло укутанных, взволнованных и любопытных, направились к ним через сад.

Супруга господина Клетериана и советница Шпатц стояли у застекленной двери, выходящей на террасу, а господин Шпинель — у окна своей комнаты, и смотрели на отъезжающих. Им было видно, как среди шуток и смеха разыгрывались маленькие сражения за лучшие места, как фрейлейн фон Остерло, с боа на шее, бегала от одной упряжки к другой и совала под сиденья корзины с провизией, как доктор Леандер, в надвинутой на лоб меховой шапке, еще раз окинул взглядом, сверкнув очками, всю процессию, а затем уже уселся сам и подал знак кучеру... Лошади тронули, кто-то из дам завизжал и повалился на спинку саней, зазвенели бубенчики, защелкали кнуты с короткими кнутовищами, длинные их бечевки поползли по снегу за полозьями, а фрейлейн фон Остерло все еще стояла у решетчатой калитки и махала

носовым платком до тех пор, пока сани не скрылись за поворотом шоссе и не улегся веселый шум. Когда она пошла через сад обратно, чтобы немедля приступить к своим обязанностям, обе дамы отошли от застекленной двери, и почти одновременно с ними покинул свой наблюдательный пост господин Шпинель.

В «Эйнфриде» наступила тишина. Экскурсантов нечего было и ждать раньше вечера. «Тяжелые» лежали по своим комнатам и мучились. Супруга господина Клетериана и ее старшая приятельница немного погуляли, а потом каждая ушла к себе. Господин Шпинель также находился у себя и «работал». Около четырех часов дамам принесли их пол-литра молока, а господин Шпинель получил свой обычный жидкий чай. Вскоре после этого супруга господина Клетериана постучала в стену, отделявшую ее комнату от комнаты советницы Шпатц, и сказала:

— Но спуститься ли нам и гостиную, госпожа советница? Здесь мне делать уже решительно нечего.

— Сию минуту, дорогая, — отвечала советница. — Я только обуюсь, с вашего позволения. Я, знаете ли, прилегла на минутку.

Как и следовало ожидать, гостиная была пуста. Дамы уселись у камина.

Советница Шпатц занялась вышиванием цветов на холсте, супруга господина Клетериана тоже сделала несколько стежков, но затем уронила рукоделье на колени и, облокотившись на ручку кресла, мечтательно уставилась в пустоту. Наконец она сделала какое-то замечание, которое даже не стоило того, чтобы ради него раскрывали рот; но так как советница Шпатц переспросила: «Что вы сказали?» — то ей, к стыду своему, — пришлось повторить всю фразу. Советница Шпатц еще раз спросила: «Что?»

Но тут из передней послышались шаги, и в гостиную вошел господин Шпинель.

— Я не помешаю? — спросил он мягким голосом, еще не переступив порога; как-то плавно и нерешительно подавшись туловищем вперед, он глядел только на супругу господина Клетериана.

— Да нет, отчего же? — отвечала молодая женщина. — Во-первых, назначение этой комнаты быть открытым портом, а потом — чем вы можете нам помешать? Я уверена, что уже наскучила советнице...

На это он ничего не ответил, только улыбнулся, показав свои гнилые зубы, и неловкой походкой, чувствуя на себе взгляды обеих дам, направился к застекленной двери; там он остановился и стал смотреть через стекло, довольно неучтиво повернувшись к дамам спиной. Затем он сделал пол-оборота в их сторону, продолжая, однако, глядеть в сад, и сказал:

— Солнце село. Небо незаметно заволокло. Уже темнеет.

— И правда, на все легла тень, — отвечала супруга господина Клетериана. — Похоже на то, что наших экскурсантов застигнет снегопад. Вчера в это время день был еще в разгаре. А сейчас уже смеркается.

— Ах, — сказал он, — после всех этих ослепительно ярких недель темнота даже приятна для глаз. Я, право, даже благодарен этому солнцу, освещающему с назойливой ясностью и прекрасное и низкое, за то, что оно наконец-то немного померкло.

— Неужели вы не любите солнце, господин Шпинель?

— Я ведь не живописец... Без солнца становишься сосредоточеннее.

Вот толстый слой серо-белых облаков. Может быть, он означает, что завтра будет оттепель. Между прочим, сударыня, я посоветовал бы вам не утомлять в потемках глаза рукодельем.

— Ах, не беспокойтесь, я и так ничего не делаю. Но чем же нам заняться?

Он опустил на табурет-вертушку возле пианино и оперся одной рукой о крышку инструмента.

¹Негритянские песенки (англ.)

— Музыка... — сказал он. — Послушать бы хоть немного музыки! Иногда английские дети поют здесь коротенькие nigger-songs¹ — и это все.

— А вчера под вечер фрейлейн фон Остерло наспех сыграла «Монастырские колокола», — заметила супруга господина Клетериана.

— Но ведь вы же играете, сударыня, — просительно проговорил он и поднялся. — Вы ведь прежде каждый день музицировали с вашим батюшкой.

— Да, господин Шпинель, но это было давно! Во времена фонтана...

— Сыграйте сегодня! — попросил он. — Дайте мне один-единственный раз послушать музыку! Если бы вы знали, как я томлюсь!

— Наш домашний врач, да и доктор Лёандер тоже, решительно запретили мне играть, господин Шпинель.

— Но ведь их здесь нет, ни того, ни другого! Мы свободны... Вы свободны, сударыня! Всего лишь несколько аккордов...

— Нет, господин Шпинель, это невозможно. Кто знает, каких чудес вы от меня ждете! А я, поверьте мне, совсем разучилась играть. Наизусть я почти ничего не помню.

— О, так сыграйте это «почти ничего». К тому же здесь есть и ноты, вот они лежат на пианино. Не эти, это ерунда. А вот, смотрите, Шопен...

— Шопен?

— Да, ноктюрны. Сейчас, я только зажгу свечи...

— Не думайте, что я буду играть, господин Шпинель? Мне нельзя. Вдруг это мне повредит?..

Он умолк. Большеногий, седоволосый, безбородый, освещенный двумя свечами, горевшими на пианино, он стоял, опустив руки.

— Ну что ж, больше не буду просить, — сказал он наконец тихо. — Если вы боитесь причинить себе вред, сударыня, то пусть молчит, пусть будет мертва красота, которая могла бы зазвучать под вашими пальцами.

Не всегда вы были так благоразумны; уж во всяком случае, не тогда, когда вы, наоборот, сами отказались от красоты. Покидая фонтан и снимая маленькую золотую корону, вы не очень-то пеклись о своем здоровье и проявили гораздо больше решительности и твердости... Послушайте, — сказал он после паузы, и голос его стал еще тише, — если вы сейчас здесь сядете и сыграете, как прежде, в те времена, когда рядом с вами стоял отец и звуки его скрипки вызывали у вас слезы... то может случиться, что она вновь незримо засияет у вас в волосах — маленькая золотая корона...

— Правда? — спросила она и улыбнулась... У нее вдруг пропал голос, и одну половину этого слова она произнесла хрипло, а другую беззвучно.

Она кашлянула и сказала: — Правда, что это у вас ноктюрны Шопена?

— Конечно. Ноты раскрыты, и все готово.

— Ну, тогда я, благословясь, сыграю один из них, — сказала она. — Но только один, слышите? Впрочем, больше вам и самому не захочется.

С этими словами она поднялась, отложила рукоделье и подошла к пианино. Она села на табурет-вертушку, на котором лежало несколько томов нот, поправила подсвечники и стала перелистывать ноты. Господин Шпинель подвинул стул и уселся рядом с ней, как учитель музыки.

Она сыграла ноктюрн ми-бемоль мажор, опус 9, номер 2. Хотя она действительно отвыкла играть, чувствовалось, что когда-то ее исполнение было подлинно артистическим. Инструмент был неважный, но уже с первых тактов она обнаружила в обращении с ним безошибочный вкус. В том, как она меняла окраску звука, сквозил настоящий темперамент, невероятная ритмическая подвижность ноктюрна доставляла ей явное удовольствие. Удар у нее был твердый и вместе с тем мягкий. Во всей своей прелести лилась из-под ее пальцев мелодия, и с изящной неторопливостью сопровождал мелодию аккомпанемент.

Она была одета так же, как в день приезда: в темный плотный жакет с выпуклыми бархатными узорами, придававший неземную хрупкость ее лицу и рукам. Во время игры выражение ее лица не менялось, но очертания губ, казалось, сделались еще яснее и сгустились тени в уголках глаз.

Окончив игру, она сложила руки на коленях, продолжая глядеть на ноты.

Господин Шпинель не проронил ни звука и не шелохнулся.

Она сыграла еще один ноктюрн, затем второй, третий. Потом она поднялась — но только для того, чтобы поискать еще другие ноты на верхней крышке пианино. Господин Шпинель стал просматривать тома в черных переплетах, лежавшие на табурете-вертушке. Вдруг он издал какой-то нечленораздельный звук, и его большие белые руки стали судорожно листать одну из этих забытых книг.

— Не может быть!.. Неправда... — сказал он. — Но нет, я не ошибся!.. Знаете, что это?.. Что здесь лежало... Что у меня в руках?..

— Что же? — спросила она.

Он молча указал на титульный лист. Он был бледен как полотно.

Уронив ноты, он смотрел на нее, и губы у него дрожали.

— В самом деле? Как это попало сюда? Ну-ка, дайте, — сказала она просто, поставила ноты на пюпитр, и через мгновение — тишина длилась не дольше — начала играть первую страницу.

Он сидел рядом с ней, подавшись вперед, сжав руки коленями и опустив голову. Вызывающе медленно, томительно растягивая паузы, сыграла она первые фразы. Тихим, робким вопросом прозвенел мотив, полный страстной тоски, одинокий, блуждающий в ночи голос. Ожидание и тишина. Но вот уже слышен ответ: такой же робкий и одинокий голос, только еще отчетливее, еще нежнее. И снова молчанье. Потом чудесным, чуть приглушенным sforцандо, в котором были и взлет, и блаженная истома страсти, полился напев любви, устремился вверх, в восторге взвился, замер в сладком сплетенье и, освобожденный, поплыл вниз, а там мелодию подхватили виолончели и повели свою глубокую песнь о тяжести и боли блаженства...

Не без успеха пыталась пианистка воспроизвести на этом жалком инструменте игру оркестра. Стремительно нараставшие скрипичные пассажи прозвучали с ослепительной точностью.. Она играла в молитвенном благоговении, веря каждому образу и передавая каждую деталь так же подчеркнуто и так же смиренно, как священник поднимает дароносицу.

Что здесь происходило? Две силы, два восхищенных существа стремились друг к другу; блаженствуя и страдая, они сплетались в безумном восторге, в неистовой жажде вечного и совершенного... Вступление вспыхнуло и угасло. Она остановилась на том месте, где раздвигается занавес, и молча смотрела на ноты.

Между тем скука, овладевшая советницей Шпатц, достигла той степени, когда она искажает человеческий облик, когда глаза вылезают из орбит и на лице появляется страшное, мертвенное выражение. К тому же эта музыка подействовала на ее желудочные нервы, она привела в состояние страха пораженный диспепсией организм, и теперь советница опасалась спазм в желудке.

— Я должна пойти к себе, — сказала она расслабленным голосом. Всего доброго, я скоро вернусь...

И ушла. Сумерки уже сгустились. Через стекло было видно, как тихо падает на террасу густой снег. Свет от обеих свечей был неровный и слабый.

— Второе действие, — прошептал он; она перевернула несколько страниц и начала второе действие.

Звуки рога замерли вдалеке. Или, может быть, это был шелест листы? Или журчанье ручья? Ночь уже разлила тишину над домом и рощей; никаким призывам, никаким мольбам теперь уже не заглушить велений страсти. Тайнство свершилось. Светильник погас, в каком-то новом, неожиданно глухом тембре зазвучал мотив смерти, и страсть в лихорадочном нетер-

пени простерла по ветру свое белое покрывало навстречу возлюбленному, который, раскрыв объятия, шел к ней сквозь мрак.

О, не знающий меры, ненасытный восторг соединения в вечности, по ту сторону земного! Освободившись от мучительных заблуждений, уйдя от оков пространства и времени, ты и я, твое и мое слились для высшей радости. Коварному призраку дня удалось разлучить их, но его хвастливая ложь не обманула видящих в ночи, прозревших от глотка волшебного зелья. Кто увидел ночь смерти и тайную прелесть ее глазами любви, у того в безумии дня осталось одно желание, одна страсть — тоска по священной ночи, вечной, истинной, соединяющей...

О, приди же, спустись, ночь любви, принеси им желанное забвенье, раствори их в своем блаженстве, вырви их из мира лжи и разлуки! Смотри, последний светильник погас! Мысль и воображение погрузились в священный сумрак, освобождающий от мира, от мук безумья. И даже когда призрак померкнет, когда помутнеет от восторга мой взгляд — я буду знать, чего лишал меня лживый свет дня, что противопоставлял он моей страсти, обрекая се на неизбывную муку, — даже тогда (о, чудо свершенья!), даже тогда я — это мир... И вслед мрачным предостережениям Брангены взлетели голоса скрипок, и взлет их был выше всякого разума.

— Я не все понимаю, господин Шпинель; о многом я только догадываюсь. Что это, собственно, значит: «даже тогда я — это мир».

Он объяснил ей это, тихо и кратко.

— Да, верно... Как же вы не умеете играть то, что так хорошо понимаете?

Странно, но он не выдержал этого безобидного вопроса. Он покраснел, начал ломать руки, весь как-то осел вместе со своим стулом.

— Это редко совпадает, — запинаясь от муки, проговорил он наконец. — Нет, играть я не умею! Продолжайте же.

И они погрузились в хмельные напевы мистерии. Разве любовь умирает? Любовь Тристана? Любовь твоей и моей Изольды? О нет, она вечна, и смерть не достигает ее! Да и что может умереть, кроме того, что нам мешает, что вводит нас в обман и разделяет слившихся воедино? Сладостным союзом соединила их обеих любовь... смерть нарушила его, но разве может быть для любого из них иная смерть, чем жизнь, отделенная от жизни другого? Таинственный дуэт соединил их в той безымянной надежде, которую дарит смерть в любви, — надежде на нескончаемое, неразрывное объятие в волшебном царстве ночи! Сладостная ночь! Вечная ночь любви!

Всеобъемлющая обитель блаженства! Разве может тот, кто в грезах своих увидел тебя, не ужаснуться пробуждению, возвращающему в пустыню дня? Прогони страх, милая смерть! Освободи тоскующих от горести пробужденья! О, неукротимая буря ритмов! О, хроматический порыв в восторге метафизического познания! Как познать, как отринуть блаженство этой ночи, не знающей мук расставанья? Кроткое томление без лжи и страха, величественное угасание без боли, блаженное растворение в бесконечности! Ты Изольда, я Тристан, нет больше Тристана, нет Изольды...

Вдруг случилось нечто страшное. Пианистка оборвала игру и, проведя рукой по глазам, стала вглядываться в темноту, а господин Шпинель резко повернулся на стуле. Сзади отворилась дверь, и темная фигура, опираясь на руку другой такой же темной фигуры, вошла из коридора в гостиную.

Это была одна из постоялиц «Эйнфрида», тоже не пожелавшая участвовать в катанье и в этот вечерний час, как всегда, пустившаяся в свой бессознательный и печальный обход, больная, которая произвела на свет девятнадцать детей и больше уже не могла ни о чем думать — пасторша Геленраух в сопровождении сиделки. Не поднимая глаз, неверными шагами просеменила она в глубину комнаты к противоположной стене к исчезла — немая, оцепенелая, беспокойная и безумная... Стояла тишина.

— Это пасторша Геленраух, — сказал он.

— Да, это бедная Геленраух, — сказала она. Затем она перелистала ноты и сыграла финал — смерть Изольды.

Как бледны, как резко очерчены были ее губы, какими глубокими стали тени в уголках глаз! На ее прозрачном лбу, над бровью, внушая тревогу, все яснее и яснее проступала трепещущая бледно-голубая жилка. Под ее руками шло невероятное нарастание звуков, сменившееся внезапным, почти нечестивым пианиссимо, которое было как почва, ускользающая из-под ног, как огромное, всепоглощающее желание. Всеразрешающий восторг великого свершенья прозвучал, повторился; долго не смолкала буря безграничного удовлетворения, но и она стала стихать, и казалось только, что, замирая, она еще раз вплетает в свою гармонию мелодию страстной тоски; наконец она устала, затихла, отшумела, ушла. Глубокая тишина.

Они оба прислушались; они склонили головы набок и слушали.

— Это бубенцы, — сказала она.

— Это сани, — сказал он. — Я ухожу.

Он встал и прошел через всю комнату. В глубине у двери он задержался, обернулся и постоял, переминаясь с ноги на ногу. А потом вышло так, что в пятнадцати или двадцати шагах от нее он упал на колени, молча, на оба колена. Полы его длинного черного сюртука расстелились по полу. Он сложил руки у самого рта, плечи его дрожали.

Она сидела спиной к пианино, опустив руки на колени, подавшись вперед, и смотрела на него. Нелепая, печальная улыбка была на ее лице, а глаза ее вглядывались в полумрак с таким напряжением, что казалось, они вот-вот закроются.

Издали все громче доносились звон колокольчиков, щелканье бичей и гул человеческих голосов.

Катанье на санках, о котором еще долго шли разговоры, состоялось 26 февраля. 27 февраля была оттепель, кругом все таяло, капало, лило, текло; в этот день супруга господина Клетериана чувствовала себя превосходно. 28-го у нее сделалось кровохарканье... о, крови вышло немного; но это была кровь. Тогда же ею вдруг овладела слабость — небывалая слабость, — и она слегла.

Доктор Леандер осмотрел ее, сохраняя при этом непроницаемо холодное лицо. Затем, согласно требованиям науки, прописал: кусочки льда, морфий, полный покой. Кстати сказать, из-за чрезмерной занятости он на следующий же день передал наблюдение над больной доктору Мюллеру, который и взял его на себя со всей кротостью, какой от него требовали долг и контракт; скромная и бесславная деятельность этого ничем не примечательного, тихого, бледного человека была посвящена или почти здоровым, или безнадежно больным.

Прежде всего он нашел, что разлука супругов Клетериан слишком затянулась и что господину Клетериану, если только позволят дела его процветающей фирмы, следовало бы еще разок навестить «Эйнфрид»: надо бы ему написать или, скажем, послать коротенькую телеграмму...

И, конечно, он осчастливит молодую мать и придаст ей сил, привезя с собой маленького Антона, не говоря уж о том, что врачам будет просто интересно познакомиться с этим маленьким здоровячком.

И вот, пожалуйста, господин Клетериан уже здесь. Он получил телеграмму доктора Мюллера и приехал с Балтийского побережья. Выйдя из экипажа, он тотчас же спросил кофе и сдобных булочек, вид у него при этом, надо сказать, был самый обескураженный.

— Сударь, — спросил, он, — в чем дело? Почему меня вызвали к ней?

— Потому что весьма желательно, — отвечал доктор Мюллер, — чтобы вы теперь находились вблизи вашей супруги.

— Желательно... Желательно... А есть ли в этом необходимость? Я должен жить по средствам, сударь, времена теперь скверные, а железная дорога недешева. Разве нельзя было обойтись без этой поездки? Я бы ничего не стал говорить, если бы у нее были, например, больные легкие; но ведь, слава богу, это только дыхательное горло...

— Господин Клетериан, — мягко сказал доктор Мюллер, — во-первых, дыхательное горло — весьма важный орган... — Он неправильно употребил выражение «во-первых», ибо никакого «во-вторых» за ним не последовало.

Одновременно с господином Клетерианом в «Эйнфриде» появилась пышная особа в наряде из шотландки и чего-то золотого и красного. Она-то и носила на руках Антона Клетериана-младшего, этого маленького здоровячка. Да, он тоже был здесь, и все должны были согласиться, что здоровье у него и впрямь отменное. Розовый, белый, в чистом, свежем костюме, толстенький и душистый, он сидел на голой красной руке своей ярко одетой няни, поглощал огромное количество молока и рубленого мяса, кричал и вообще давал волю своим инстинктам.

Прибытие молодого Клетериана писатель Шпинель наблюдал из окна своей комнаты. Когда ребенка несли из экипажа в дом, он посмотрел; на него как-то странно — мутными глазами и в то же время пронзительно — и долго еще сидел неподвижно, все с тем же выражением лица.

С этих пор он всячески избегал встреч с Антоном Клетерианом-младшим.

Господин Шпинель сидел у себя в комнате и «работал».

Комната его была такая же, как все комнаты в «Эйнфриде», — старомодная, простая и изысканная. Массивный комод украшали металлические львиные головы, высокое стенное зеркало состояло из множества маленьких квадратных пластинок в свинцовой оправе, синеватый, блестящий, не застланный ковром каменный пол, казалось, удлинял ножки мебели ясными, застывшими отражениями. У окна, которое романист затянул желтой гардиной, — на верно, для того, чтобы сосредоточиться, — стоял просторный письменный стол.

В желтоватом сумраке склонился он над доской секретера и писал — писал одно из тех многочисленных писем, которые каждую неделю отсылал на почту и на которые, как это ни смешно, по большей части не получал ответа. Перед ним лежал большой лист плотной бумаги. В левом верхнем углу листа, под замысловато изображенным пейзажем, новомодными буквами было напечатано «Детлеф Шпинель». Он писал мелким, хорошо выписанным и на редкость аккуратным почерком.

«Милостивый государь! — писал он. — Я пишу Вам эти строки, ибо не могу иначе, ибо то, что я должен Вам сказать, переполняет меня, мучает и приводит в дрожь, слова захлестывают меня таким стремительным потоком, что я бы задохнулся, если бы не излил их в этом письме...»

Честно говоря, «стремительный поток» нимало по соответствовал действительности, и одному богу известно, какие суетные побуждения заставили господина Шпинеля упомянуть о нем. Слова отнюдь не захлестывали его, напротив, писал он огорчительно медленно для писателя-профессионала, и, взглянув на него, можно было подумать, что писатель — это человек, которому писать труднее, чем прочим смертным.

Он крутил двумя пальцами один из нелепых волосков, росших у него на щеках, крутил, наверно, не менее часа, уставившись в пустоту, причем за это время в письме его не прибавилось ни одной строчки, затем он написал несколько изящных слов, после чего снова застрял. Нужно, однако, признать, что в конечном счете письмо его оказалось написано довольно гладким и живым слогом, хотя содержание его и было несколько причудливо, сомнительно и местами даже мало понятно.

«Я испытываю, — так продолжалось письмо, — неодолимую потребность заставить Вас увидеть то, что вижу я сам, что вот уже несколько недель стоит передо мной неугасимым видением, увидеть моими глазами и в том освещении, в каком это вижу я. Я привык уступать силе, велящей мне с помощью незабываемых, словно огнем выжженных и неукоснительно точно расставленных слов делать мои переживания достоянием всего мира.

Поэтому выслушайте меня.

Мне хочется только одного — рассказать о том, что было и что есть, рассказать без комментариев, обвинений и сетований, просто, своими словами, короткую, несказанно возмутительную историю. Это история Габриэлы Экхоф, той женщины, сударь, которую Вы называете своей женой... Так вот, знайте: Вы пережили эту историю, но событием в Вашей жизни она станет только благодаря мне, только благодаря моим словам.

Помните ли Вы сад, сударь, старый, запущенный сад позади серого патрицианского дома? Зеленым мхом поросли трещины полуразрушенных стен, окружавших это мечтательное запустение. Помните ли Вы фонтан в глубине сада? Над ветхим его бассейном склонились лиловые лилии, и с таинственным журчанием падала на разбитые камни светлая струя.

Летний день был на исходе.

Семь дев сидели кружком у фонтана, и в волосы седьмой, но первой и единственной, заходящее солнце, казалось, вплело знак неземного величия. Пугливым сновидениям были подобны ее глаза, но губы ее улыбались...

Они пели. Узкие лица их были обращены к вершине струи, к усталому, благородному изгибу, где начиналось ее падение, тихие звонкие голоса парили вокруг пляшущей воды. Возможно, что они пели, охватив колени своими нежными руками...

Помните ли Вы эту картину, сударь? Видели ли Вы ее? Вы ее не видели.

Не те у Вас были глаза, не те уши, чтобы воспринять ее целомудренную прелесть. Видели ли Вы ее?.. Вам бы затаить дыхание, Вам бы запретить биться своему сердцу. Вам бы уйти, уйти в жизнь, в Вашу жизнь, и до конца дней своих, как сокровенную и неприкосновенную и великую святыню, хранить в душе то, что Вы увидели. А что сделали Вы?

Картина эта была концом, сударь; зачем же Вам понадобилось прийти и нарушить ее, продолжить в пошлости и безобразных страданиях? Это был трогательный и мирный апофеоз, окутанный вечерним светом упадка, гибели, угасания. Старая семья, слишком благородная и слишком усталая, для того чтобы жить и действовать, у конца своих дней, и последнее, в чем она выражает себя, — это звуки музыки, несколько тактов на скрипке, исполненных вещей тоски обреченности... Видели Вы глаза, на которые наворачивались слезы при этих звуках? Возможно, что души шести подруг принадлежали жизни; душа их сестры и повелительницы принадлежала красоте и смерти.

Вы видели ее, эту красоту смерти. Вы смотрели на нее, смотрели вождедея. Ничего похожего на благоговение или страх не вызвала у Вас в душе трогательная ее святость. И Вы не пожелали довольствоваться созерцанием: нет, Вам надо было взять, получить, осквернить... Вы гурман, сударь, Вы плебей-гурман, Вы мужлан со вкусом.

Прошу Вас иметь в виду, что у меня нет ни малейшего желания оскорблять Вас. Мои слова не брань, а формула, простая психологическая формула для обозначения несложной, не представляющей никакого литературного интереса личности, каковою являетесь Вы, и если я прибегаю к этим словам, то лишь желая уяснить Вам Ваши же собственные действия и Вашу сущность; такова уж моя неизбежная обязанность в этом мире — называть вещи своими именами, заставлять говорить, разъяснять неосознанное. Мир полон того, что я называю «неосознанным типом», и мне они неведомы, все эти неосознанные типы! Мне неведому вся эта бесчувственная, слепая, бессмысленная жизнь, вся эта суета; меня раздражает этот мир наивности вокруг меня! Меня мучит неодолимое желание — в меру сил своих объяснить, выразить, осознать окружающее меня бытие, и мне безразлично, помогу я этим или помешаю, принесу ли радость и облегчение или причину боль.

Вы, сударь, как я уже сказал, плебей-гурман. Вы мужлан со вкусом, Вы человек грубого склада, стоящий на низшей ступени развития. Богатство и сидячий образ жизни привели Вашу нервную систему в состояние такого неожиданного, противоестественного, варварского разложения, которое неминуемо влечет за собой потребность в сладострастной утонченности наслаждений. Весьма вероятно, что, когда Вы решили завладеть Габриэлой Экхоф, Вы непроизвольно чмокнули, словно отведав превосходного супа или какого-нибудь редкого блюда...

По существу, Вы направляете ее мечтательную волю по неверному пути, Вы уводите ее из запущенного сада в жизнь, в уродливый мир, Вы даете ей свою заурядную фамилию, превращаете ее в жену, в хозяйку. Делаете ее матерью. Вы унижаете усталую, робкую, цветущую в своем возвышенном самодавлении красоту смерти и заставляете ее служить пошлой обыденности и тому тупому, косному, презренному идолу, который называют природой. В Вашем сознании мужлана нет и тени представления о всей низости Ваших действий.

Итак, что же происходит? Та, глаза которой подобны пугливым сновидениям, дарит Вам сына; она отдает этому существу, призванному продолжать низменное бытие родителя, всю свою кровь, все, что в ней еще осталось от жизни, — и умирает. Она умирает, милостивый государь! И если конец ее свободен от пошлости, если в преддверии его она поднялась из глубины своего унижения, чтобы в гордом блаженстве принять смертельный поцелуй красоты, то об этом позаботился я. А у Вас была другая забота — Вы развлекались с горничными в темных коридорах.

Зато Ваш ребенок, сын Габриэлы Экхоф, — процветает, живет, торжествует. Возможно, что он пойдет по стопам отца и станет купцом, исправным налогоплательщиком, любителем хорошо покушать; может быть, он станет солдатом или чиновником, слепой и усердной опорой государства. Так или иначе, из него получится существо, чуждое музам, нормальное, беззаботное и уверенное, сильное и глупое.

Знайте, милостивый сударь, что я ненавижу Вас и Вашего сына, как ненавижу самую жизнь, олицетворяемую Вами, пошлую, смешную и тем не менее торжествующую жизнь, вечную противоположность красоты, ее заклятого врага. Не смею сказать, что я Вас презираю. Я честен. Из нас двоих Вы сильнейший. Единственное, что я могу противопоставить Вам в борьбе, — это достойное оружие мести слабосильного человека — слово и дух. Сегодня я воспользовался этим оружием. Ведь это письмо, — я честен и здесь, милостивый государь, — и есть акт мести; и если хоть одно слово в нем достаточно остро, достаточно блестяще и красиво, чтобы кольнуть Вас, чтобы заставить Вас почувствовать чужую силу, чтобы хоть на мгновение вывести Вас из Вашего толстокожего равновесия — то я торжествую.

Детлеф Шпинель».

Господин Шпинель запечатал конверт, наклеил марку, изящным почерком написал адрес и отправил письмо на почту.

С видом человека, решившегося на самые энергичные действия, господин Клетериан стучался в дверь господина Шпинеля; в руках он держал большой лист бумаги, исписанный аккуратным почерком. Почта сделала свое дело, письмо пошло положенным ему путем и, совершив странное путешествие из «Эйнфрида» в «Эйнфрид», попало «в собственные руки» адресата. Было четыре часа дня.

Когда господин Клетериан вошел в комнату, господин Шпинель сидел на диване и читал свой собственный роман с обескураживающим, странным рисунком на обложке. Он поднялся и, как человек, застигнутый врасплох, вопросительно взглянул на посетителя, сильно при этом, однако, покраснев.

— Добрый день, — сказал господин Клетериан. — Извините, что я помешал вашим занятиям. Но позвольте спросить — не вы ли это писали? — Он поднял левую руку, державшую большой, исписанный аккуратным почерком лист бумаги, и хлопнул по нему тыльной стороной правой ладони, отчего бумага громко зашуршала. Затем он засунул правую руку в карман своих широких, удобных брюк, склонил голову набок и раскрыл рот, как то делают иные, приготовившись слушать.

Как ни странно, но на лице господина Шпинеля появилась улыбка, предупредительная, немного смущенная и как бы извиняющаяся. Он потер рукой голову, словно что-то припоминая, и сказал:

— Ах, верно... да... я позволил себе...

Дело было в том, что сегодня он дал себе волю и проспал до полудня.

Теперь он страдал от угрызений совести, голова у него кружилась, он чувствовал себя взвинченным и неспособным ни на какое сопротивление.

К тому же веянье весеннего воздуха вызвало у него слабость и настроило его на пессимистический лад. Все это нужно принять во внимание, чтобы объяснить его весьма нелепое поведение в разыгравшейся сцене.

— Ага! Вот как! Хорошо! — сказал господин Клетериан, он прижал подбородок к груди, поднял брови, вытянул вперед руки, — словом, сделал множество приготовлений, чтобы после своего чисто формального вопроса безжалостно перейти к сути дела. Из самодовольства он эти приготовления несколько затянул; то, что за ними последовало, не вполне отвечало грозной обстоятельности мимической подготовки. Однако господин Шпинель заметно побледнел.

— Очень хорошо! — повторил господин Клетериан. — В таком случае, дорогой мой, позвольте ответить вам устно, поскольку, на мой взгляд, идиотство писать длиннейшие письма людям, с которыми можно в любой момент поговорить.

— Ну... уж и идиотство... — протянул господин Шпинель с извиняющейся, даже подбострастной улыбкой.

— Идиотство! — повторил господин Клетериан и стал энергично трясти головой, чтобы показать, сколь непоколебима его уверенность в своей правоте. — Я бы и словом не удостоил эту писанину, я бы — честно скажу — побрезговал завернуть в нее бутерброд, если б она кое-что но объяснила мне, не сделала понятным некоторое изменение... Впрочем, это вас не касается и к делу не относится. Я деловой человек, и у меня есть другие заботы, кроме ваших невыразимых видений...

— Я написал «неугасимое видение», — сказал господин Шпинель к выпрямился. Это был единственный момент их разговора, когда он проявил достоинство.

— «Неугасимое... невыразимое...» — ответил господин Клетериан и заглянул в рукопись. — У вас отвратительный почерк, уважаемый; я бы не взял вас к себе в контору. На первый взгляд кажется, что он четкий, а приглядишься — видны пропуски и неровности. Но это дело ваше, меня это не касается. Я пришел сказать вам, что, во-первых, вы шут гороховый, — впрочем, это, надеюсь, вы и сами знаете. Но, кроме того, вы большой трус, думаю, что и это мне незачем вам подробно доказывать. Жена мне как-то писала, что, встречаясь с женщинами, вы не смотрите им в лицо, а только искоса поглядываете на них, вы хотите унести с собой красивый образ и боитесь действительности. К сожалению, она потом перестала рассказывать о вас в своих письмах, а то бы я узнал много всяких историй. Такой уж вы человек. Каждое третье слово у вас «красота», а в сущности, вы трус, тихоня и завистник. Отсюда-то и ваше нахальное замечание насчет «темных коридоров»; вы думали меня им сразить, а оно меня только позабавило, позабавило — и все! Ясно теперь? Стали вам немного яснее ваши... «ваши действия и ваша сущность»? Жалкий вы человек! Хотя это и не является моей «непременной обязанностью», ха-ха-ха!

— У меня написано: «неизбежная обязанность», — поправил его господин Шпинель, но тут же перестал спорить. Беспомощный, несчастный, большой, седоволосый, он стоял, как школьник, получивший нагоняй.

— «Неизбежная... неременная...» Подлый вы трус, вот что я вам скажу. Каждый день вы видите меня за столом, вы здороваетесь со мной и улыбаетесь, вы передаете мне соус и улыбаетесь, вы желаете мне приятного аппетита и улыбаетесь. А в один прекрасный день на мою голову валится вот эта мазня с идиотскими обвинениями. Что и говорить, на бумаге вы храбрец! Ну, пусть бы этим дурацким письмом дело и кончилось. Так нет же, вы еще вели интриги против меня, вели их за моей спиной, теперь я это прекрасно понимаю... впрочем, не воображайте, что вы чего-то добились! Если вы тешите себя надеждой, что вскружили голову моей жене, то вы заблуждаетесь, любезный, слишком она для этого разумный человек!

А если вы, чего доброго, думаете, что на этот раз она встретила меня как-то по-другому — и меня и ребенка, — так это уж сущая ерунда! Если она и не поцеловала сына, то сделала это из осторожности, потому что недавно возникло предположение, что болезнь у нее не в дыхательном горле, а в легких, и тут уж неизвестно... Хотя вообще-то совсем еще не доказано, что у нее плохо с легкими, а вы уж заладили: «Она умирает, милостивый государь!» Осел вы, и больше ничего!

Тут господин Клетериан попытался перевести дыхание. Он так разгневался, что непрерывно пронзал воздух указательным пальцем правой руки, в то время как левая самым безжалостным образом комкала письмо.

Лицо его, окаймленное светлыми английскими бакенбардами, побагровело, набухшие вены, словно грозные молнии, прорезали его насупленный лоб.

— Вы ненавидите меня, — продолжал он, — и вы бы меня презирали, если бы я не был сильнее вас. Да, я сильнее, черт возьми, у меня душа на месте, а у вас она то и дело уходит в пятки, хитрый вы идиот, я бы отдубасил вас с вашим «духом и словом», если бы это не было запрещено. Но это еще не значит, что я вам так просто спущу ваши нападки: боюсь, что вам очень не поздоровится, если я покажу своему адвокату то место в письме, где говорится насчет «заурядной фамилии». Моя фамилия, сударь, вполне хороша, и хороша благодаря мне. А вот дадут ли вам под залог вашей фамилии хотя бы полушку в долг, это, сударь мой, более чем сомнительно.

И откуда вы только взялись, бездельник? Надо бы издать закон против таких, как вы! Вы опасны для общества! Вы сводите людей с ума!.. Впрочем, не воображайте, что вам удалось своротить мне мозги, тоже еще заступник нашелся! Меня не собьют с толку такие типы, как вы. У меня душа на месте...

Господин Клетериан был в самом деле крайне взволнован. Он кричал и все время повторял, что душа у него на месте.

— «Они пели...» Черта с два! Да не пели они вовсе! Они вязали. И еще они говорили, насколько я понял, о рецепте приготовления картофельных пончиков; и если я повторю ваши слова насчет «упадка» и «угасания» своему тестю, то он тоже возбудит против вас дело, можете быть уверены!..

«Видели ли Вы эту картину, видели ли Вы ее?» Конечно, я ее видел, но я не понимаю, почему мне следовало затаить дыхание и удрать. Я не поглядываю на женщин украдкой, я смотрю на них, и, если они мне нравятся, я их беру. У меня душа на мое...

В дверь постучали. Раздалось девять или десять быстрых ударов подряд, короткая нервная дробь, заставившая господина Клетериана умолкнуть, и чей-то захлебывающийся, непослушный в беде голос торопливо проговорил:

— Господин Клетериан, господин Клетериан, ах, нет ли здесь господина Клетериана?

— Не входите, — неприязненно сказал господин Клетериан. — В чем дело? У меня здесь разговор.

— Господин Клетериан, — отвечал неверный, прерывающийся голос. — Вам нужно пойти, врачи тоже там.... о, какое это страшное горе...

Он бросился к двери и распахнул ее. В коридоре стояла советница Шпатц. Она держала платок у рта, и крупные, продолговатые слезы попарно скатывались в этот платок.

— Господин Клетериан, — с трудом проговорила она, — это такое горе... Она потеряла столько крови, ужасно, ужасно... Она спокойно сидела в кровати и что-то тихонько напевала, и вдруг пошла кровь, боже мой, столько крови...

— Она умерла?! — закричал господин Клетериан. Он схватил советницу за руку выше локтя и стал тянуть ее от одного конца порога к другому. — Нет, не совсем, что? Не совсем, она еще сможет меня увидеть... Снова немного крови? Из легких, что? Я готов признать, что кровь, наверно, из легких... Габриэла! — внезапно сказал он, и глаза его наполнились слезами, и видно было, как в нем прорвалось доброе, человеческое и честное чувство. — Да, я

иду! — добавил он и, широко шагая, потащил за собой советницу. Из глубины коридора еще доносились его затихающие слова: «Не совсем, что?.. Из легких, а?»

Господин Шпинель стоял все на том же месте, где стоял во время так внезапно прерванного визита господина Клетериана, и глядел в открытую дверь. Наконец он шагнул вперед и стал прислушиваться. Но все было тихо, он затворил дверь и вернулся на прежнее место.

С минуту он разглядывал себя в зеркале, затем подошел к письменному столу, вынул из ящичка небольшую бутылку и налил себе в рюмочку коньяку, — кто осудит его за это? Выпив, он лег на диван и закрыл глаза.

Верхняя створка окна была открыта. В саду «Эйнфрида» щебетали птицы, и эти слабые, нежные, дерзкие звуки были тонким и проникновенным выражением весны. Один раз господин Шпинель тихо проговорил: «Неизбежная обязанность». Потом он стал мотать головой, втягивая воздух через зубы, словно в приступе нервной боли.

Успокоиться, прийти в себя было невозможно. Нет, он не создан для таких грубых переживаний!.. Психологический процесс, анализ которого завел бы вас слишком далеко, заставил господина Шпинеля принять решение — подняться и пройтись по свежему воздуху. Он надел шляпу и вышел из комнаты.

Окунувшись в мягкий душистый воздух, он обернулся, и глаза скользнули вверх по зданию — к одному из окон, к занавешенному окну, которое и приковало к себе на мгновение его серьезный, пристальный, сумрачный взгляд. Потом он заложил руки за спину и зашагал по дорожке.

Шагал он в глубоком раздумье.

На клумбах лежали маты, деревья и кусты стояли еще голые; но снег уже сошел, и только влажные следы его виднелись кое-где на дорожках.

Обширный сад со всеми гротами, аллеями и беседками был залит роскошным предвечерним светом; густые тени чередовались с сочным золотом, и темные ветви деревьев четко и тонко вырисовывались на светлом небе.

Был тот час, когда солнце приобретает очертанья, когда бесформенная масса света превращается в спускающийся диск, спокойное, ровное пламя которого не ослепляет. Господин Шпинель не видел солнца: он шел так, что оно было скрыто от него, шел с опущенной головой и тихо напевал короткую музыкальную фразу, робкую, жалобную, улетающую вверх мелодию, мелодию страстной тоски... Вдруг он судорожно вздохнул, остановился и точно прирос к месту, брови его резко сомкнулись, а зрачки расширились, в них, казалось, застыли ужас и отвращенье...

Дорога сделала поворот — теперь она шла навстречу заходящему солнцу. Огромное, подернутое двумя узкими светлыми полосками позолоченных по краям облаков, оно косо висело на небе, заставляя пламенеть вершины деревьев и разливая по саду красновато-желтое сиянье. И посреди этого золотистого великолепия, с громадным ореолом солнечного диска над головой, стояла пышная особа в наряде из шотландки и чего-то золотого и красного, стояла, упираясь правой рукой в могучее бедро, а левой потихоньку толкая изящную колясочку — к себе и от себя. А в коляске сидел ребенок — Антон Клетериан-младший, упитанный сын Габриэлы Экхоф!

Он сидел, откинувшись на подушки, в белой пушистой курточке и в большой белой шапке, великолепный, здоровый бутуз, и глаза его весело и уверенно встретили взгляд господина Шпинеля. Романист хотел собраться с силами, в конце концов он был мужчиной, у него бы хватило духа пройти мимо этого неожиданного, озаренного солнечным светом видения и продолжить свою прогулку. Но тут случилось нечто ужасное: Антон Клетериан стал смеяться, им овладела буйная радость, он визжал от необъяснимого восторга, так что жутко становилось на сердце.

Одному богу известно, что привело его в такой восторг: черная ли фигура, которую он увидел перед собой, вызвала у него эту дикую веселость, или это был внезапный приступ ка-

кой-то животной радости. В одной руке он держал костяное кольцо, которое дают детям, когда у них режутся зубы, в другой — жестяную погремушку. Оба эти предмета он в восторге протягивал вверх к солнцу и так стучал ими друг о друга, словно хотел над кем-то поиздеваться. Глаза он зажмурил от удовольствия, а рот раскрыл так широко, что видно было розовое небо. Взвизгивая, он мотал головой из стороны в сторону.

Тут господин Шпинель повернулся и зашагал прочь. Преследуемый ликованием молодого Клетериана, он шел по дорожке, и в положении рук его была какая-то настороженность, какое-то застывшее изящество, а в ногах — та нарочитая медлительность, которая бывает у человека, когда он хочет скрыть, что внутренне пустился наутек.

1902